

Антон Чехов Ионыч

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в *pinse-nez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...¹

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

– Здравствуйте пожалуйста, – сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

– Ах ты, цыпка, баловница... – нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожаловали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная написала большинство роман и сегодня будет читать его вслух.

– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – *dites que l'on nous donne du thé.*²

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая,

¹ *Когда еще я не пил слез из чаши бытия...* – Строка из романа М. Л. Яковлева на слова «Элегии» А. Дельвига.

² скажи, чтобы дали нам чаю (*франц.*).

нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

– Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать.

– Недурственно... – тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

– Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев.

– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локонем, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, – было так приятно, так ново...

– Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, – сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь.³

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

– Прекрасно! превосходно!

– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екатерины Ивановны. – В консерватории?

³ Умри, Денис, лучше не напишешь. – Оценка, будто бы данная князем Г. А. Потемкиным после первого представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Печатно приведена впервые в «Русском вестнике» (1808, № 8, стр. 264), затем неоднократно повторялась в литературе о Фонвизине и стала ходячим анекдотом. Чеховская редакция фразы всего ближе к приведенной в книге П. А. Арапова «Летопись русского театра»: «Умри, Денис! Или не пиши больше, лучше не напишешь» (СПб., 1861, стр. 210). См. об этом в статье о Фонвизине Г. А. Гуковского в кн.: История русской литературы. Т. IV. Ч. 2. М. – Л., 1947, стр. 178–180, и в статье В. Б. Катаева «„Умри, Денис, лучше не напишешь“». Из истории афоризма» («Русская речь», 1969, март – апрель, стр. 23–29).

– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

– Вы кончили курс в здешней гимназии?

– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатерина Ивановна.

– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризная, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суеился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

– Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...⁴

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь, и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

– Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

⁴ Твой голос для меня, и ласковый, и томный... – Начальная перефразированная строка романса А. Г. Рубинштейна «Ночь» на слова Пушкина – «Мой голос для тебя и ласковый и томный...»

– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с-ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? – спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.

– Я читала Писемского.

– Что именно?

– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, – прочел Старцев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. – При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, – думал он. – Котик тоже странная и – кто знает? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онъ же...»⁵ Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это

⁵ «Грядет час в онъ же...» – Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 28.

белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустил занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, – уже было темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелеймону.

И, сядя с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну что ж? – думал он. – И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? – думал он. – В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только

смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

– Делать нечего, – сказал Иван Петрович, – поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

– Вы были на кладбище?

– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

– И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

– Довольно, – сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостинной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, – выговорил наконец Старцев, – будьте моей женой!

– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... – она встала и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... – у нее слезы навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостинной.

У Старцева перестало беспокоить сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отказа, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

– Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед⁶ и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставлял в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это – по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и к стати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, махнула и сказала:

– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но

⁶...что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни ~ «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» – Приведено в воспоминаниях о Чехове А. С. Яковлева, относящихся ко времени пребывания его в Москве осенью 1900 г. (ЛН, т. 68, стр. 601).

вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое – несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

– Недурственно, – сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. – Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, – продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, – бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, – но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал он. – Тогда шел дождь, было темно...

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я

тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

– Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу – и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами.

Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

– Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Пррррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемоний идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

– Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. – «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплывало жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

– Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

– Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

Примечания

В десятом томе печатаются рассказы и повести, написанные Чеховым в последние годы жизни – 1898–1903.

Это пора его высшего творческого расцвета. Чехов сближается с Л. Н. Толстым и М. Горьким, с демократическим издательством «Знание» и литераторами, группировавшимися вокруг него. Он предпринимает издание своих сочинений, собирает для этого произведения прежних лет и заново их редактирует.

Почти все рассказы и повести, публикуемые в настоящем томе, включены автором в собрание сочинений, изданное А. Ф. Марксом. «Ионыч», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка», «Новая дача» напечатаны в т. IX (1901) и публикуются по этому тексту.

Готовя второе издание – приложение к «Ниве», А. Ф. Маркс в письме от 19 марта 1903 г. просил у Чехова разрешения включить произведения, которые не вошли в первое десяти томное издание и предназначались для XI, дополнительного тома, во второе издание. Рассказы, о которых шла речь – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «В овраге», «На святках», «Архиерей», – включены в т. XII второго издания (приложение к «Ниве»), вышедший в свет при жизни писателя (1903). XI том первого издания увидел свет лишь в 1906 году; к незначительным изменениям в тексте, которые были сделаны при наборе этого тома, Чехов отношения не имел. На этом основании упомянутые семь рассказов и повестей печатаются по тексту т. XII второго издания, правленного автором (см. примечания к рассказу «Человек в футляре», стр. 371 наст. тома).

По тексту гранок печатается рассказ «У знакомых», не включенный Чеховым в собрание сочинений, по журнальному тексту – «Невеста», рассказ, опубликованный в декабрьском номере

«Журнала для всех» за 1903 г. и поэтому в прижизненное собрание сочинений не вошедший.

Из рукописных материалов к рассказам и повестям настоящего тома сохранились (кроме записных книжек): 1) белой автограф рассказа «У знакомых», без 10-й стр. (ИРЛИ) и гранки этого рассказа с авторской правкой (ГПБ); 2) белой автограф рассказа «Ионыч» (ЦГАЛИ); 3) последняя страница черновой рукописи четвертой главы рассказа «Дама с собачкой» (ГЛМ); 4) черновой автограф рассказа «Невеста» и белой автограф с поправками (ГБЛ); гранки 1-й и 2-й корректур с исправлениями (ИРЛИ); 5) автограф незаконченного произведения «Расстройство компенсации» (ГБЛ), 6) автограф рассказа «Калека», также оставшегося незавершенным (ГБЛ); 7) печатные вырезки ранних рассказов с правкой – «Из записной книжки Ивана Ивановича (Мысли и заметки)» (ЦГАЛИ).

В последние годы особенно ясно проступает черта, присущая писательской работе Чехова в целом: своеобразная цикличность, когда творческое состояние сменяется вынужденным бездействием (например, перерыв в работе в 1899 г.). С каждым годом длительность рабочего состояния сокращается, продуктивность становится меньше. Это связано не только с болезнью и не только с тем, что большую часть времени поглощает подготовка издания сочинений. Была еще одна причина – повышение авторской требовательности. Слова, сказанные Чеховым в дни работы над пьесой «Три сестры»: «больше думал, чем писал» (письмо к О. Л. Книппер от 5 сентября 1900 г.), – характерны для последних лет. Никакого творческого «затухания» не было – писатель жалуется на нездоровье, на то, что замедляется работа, отодвигаются намеченные сроки, но почти никогда не говорит о бедности или нехватке замыслов. («Ах, какая масса сюжетов в моей голове...», – писал он О. Л. Книппер 23 января 1903 г.) Он уходит из жизни с сознанием больших неосуществленных творческих возможностей. Вместе с тем, как это явствует из его высказываний, у него нарастает ощущение, что писать надо не так, как прежде: в том, что он создает как прозаик и драматург, ему видится нечто старомодное (см. его письма к Книппер от 23 февраля и 17 апреля 1903 г.).

Многие писавшие о Чехове свидетельствовали, что в самые последние годы он стоял на пороге нового периода творчества.

В 1898–1904 гг. продолжалось сотрудничество Чехова в журнале «Русская мысль», начатое в 1892 г. публикацией повести «Палата № 6». В 1898 г. здесь были напечатаны «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», в 1899 – «Дама с собачкой», в 1901 – «Три сестры».

После смерти Чехова в январской книжке «Русской мысли» за 1905 год, в подборке «Из набросков А. П. Чехова», помещены незаконченные произведения – «У Зелениных», «Калека» и «Волк» (переработка рассказа «Водобоязнь», опубликованного в «Петербургской газете» в 1886 г.).

В 900-е годы Чехов не раз обещал издателям «Русской мысли» дать новый рассказ или повесть (см. письма к В. М. Лаврову от 21 августа 1900 г. и В. А. Гольцеву от 26 января 1903 г. и 17 марта 1904 г.). Намерения писателя остались невыполненными.

В газете «Русские ведомости», в которой Чехов прежде активно сотрудничал, он теперь напечатал лишь один рассказ – «Новая дача» (1899).

В 1899 г. в «Книжках Недели» № 1 опубликован рассказ «По делам службы». О своем желании написать для «Книжек Недели» Чехов говорит в письмах к М. О. Меньшикову от 27 апреля и 2 октября 1899 г., от 17 сентября 1900 г. – он имеет в виду повесть «Калека», которая, однако, так и не была закончена.

Начатое в 1896 г. сотрудничество в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“» (повесть «Моя жизнь») продолжено в 1898 г. публикацией рассказа «Ионыч». Маркс неоднократно просил у Чехова новые произведения для журнала (письма от 30 апреля и 8 декабря 1900 г. – ГБЛ). Чехов обещал дать рассказ (письма управляющему конторой издательства Ю. О. Грюнбергу от 28 сентября 1899 г., Марксу от 11 мая и 10 декабря 1900 г., от 16 октября 1902 г.). Однако осуществить это ему не удалось.

После значительного перерыва Чехов снова появляется в «Петербургской газете», в которой

он печатался с 1885 г. В «Нашем времени», бесплатном приложении к газете (1899), перепечатан с авторскими исправлениями рассказ «Художество». В «Петербургской газете» в 1900 г. опубликован рассказ «На святках».

В последние годы жизни Чехов участвует в изданиях, руководимых М. Горьким, – в журнале «Жизнь» и сборниках товарищества «Знание».

С 1898 г. петербургский журнал «Жизнь» становится под фактическим руководством В. А. Поссе органом легальных марксистов. М. Горький в 1899 г. объединяет вокруг журнала группу демократических писателей. В письмах 1898–1899 гг. Горький и Поссе обращаются к Чехову с просьбой о поддержке журнала. В «Жизни» в 1900 г. напечатана повесть «В овраге». Чехов предполагал еще написать для «Жизни» (письма к Поссе от 28 сентября 1900 г. и 3 марта 1901 г.), но в июне 1901 г. журнал был запрещен, его издание перенесено за границу, сотрудничество в нем Чехова прекратилось.

Во второй книге «Сборника товарищества „Знание“ за 1903 г.» помещена последняя пьеса Чехова, «Вишневый сад». В конце 1902 г. единственными пайщиками товарищества стали М. Горький и К. П. Пятницкий. Упомянув их, Чехов писал 11 апреля 1902 г. К. Д. Носилу: «В „Знании“ верховодят очень порядочные люди». В письме к Пятницкому 27 апреля 1904 г. он сообщал, что ему «первая книжка сборника очень понравилась». Чехов предполагал дать для сборника «Знание» рассказ (письмо к Горькому от 6 октября 1903 г. См. также *Горький и Чехов*, стр. 152).

Активно печатается Чехов в «Журнале для всех», широко распространенном журнале демократического направления: в 1898 г. – рассказы «Жилец» (первоначальное название «Жилец № 31»), «Необыкновенный» (первоначальное название «Бука») и «Муж» (первоначальное название «Акцизный»), – все три рассказа в первых редакциях были опубликованы в 1886 г. в журнале «Осколки» (см. т. V Сочинений), – в 1902 г. – «Архиерей», в 1903 г. – «Невеста».

После смерти Чехова, в № 2 журнала за 1905 г., напечатан неоконченный рассказ «Расстройство компенсации» (см. примечания, стр. 475). Предполагалось также опубликовать в 1906 г. неоконченный рассказ «Письмо», но выход журнала прекратился. Рассказ появился в журнале «Трудовой путь», 1907, № 7 (см. примеч. в т. VII Сочинений, стр. 718–719).

Эпизодичными были публикации в журналах «Cosmopolis» и «Семья».

В 1898 г. в журнале «Cosmopolis» (русский отдел) помещен рассказ «У знакомых». Участвовать в журнале, выходившем на четырех европейских языках, пригласил Чехова Ф. Д. Батюшков, ставший редактором русского отдела. В журнале «Семья» в 1899 г. опубликован рассказ «Душечка» – единственный случай участия Чехова в этом журнале.

Живя в Ялте, Чехов принимая участие в местной газете «Крымский курьер» (см. об этом в воспоминаниях редакторов газеты М. К. Первухина, А. Я. Бесчинского). После публикации в «Петербургской газете» здесь перепечатан рассказ «Художество», помещены отчеты о пожертвованиях в пользу голодающих.

Редакции многих газет и журналов предпринимали настойчивые, но безуспешные попытки добиться сотрудничества Чехова («Русское богатство», «Мир божий», «Мир искусства» и др.).

Получал Чехов и многочисленные предложения участвовать в сборниках и альманахах. В 1901 г. он дал, по совету И. А. Бунина, рассказ «Ночью» (первоначальная редакция под названием «В море. Рассказ матроса» – в журнале «Мирской толк», 1883) для альманаха «Северные цветы» (см. т. II Сочинений).

Для сборника к 25-летию службы Ю. О. Грюнберга в редакции «Нивы» Чехов предложил старый рассказ «Весной» (письмо к П. Н. Полевому от 22 сентября 1900 г.), но из-за смерти Грюнберга издание не состоялось.

«... за 1900 г. я получаю приглашение участвовать в сборнике – в шестой раз, т. е. предлагается к изданию шесть сборников», – отвечал он П. Ф. Якубовичу (Мельшину), пригласившему его участвовать в сборнике к 40-летию литературно-публицистической деятельности Н. К. Михайловского (письмо от 14 июня 1900 г.).

В 1899–1902 гг. в издательстве А. Ф. Маркса вышли Сочинения Антона Чехова в десяти томах: т. I. Рассказы (1899); т. II. Повести и рассказы (1900); т. III. Рассказы (1901); т. IV. Рассказы (1901); т. V. Рассказы (1901); т. VI. Рассказы (1901); т. VII. Пьесы (1900, изд. 1-е и 1902, изд. 2-е); т. VIII. Рассказы (1901); т. IX. Рассказы (1901); т. X. Остров Сахалин. Из путевых записок (1902).

В 1903 г. как приложение к журналу «Нива» было выпущено полное собрание сочинений Ант. П. Чехова, издание второе, в 16 томах.

В издательстве Маркса вышли отдельными книгами: «Повести и рассказы». СПб. <1900>; «Каштанка». Рассказ. С 55 рис. худ. Д. Н. Кардовского. СПб., 1903; «Свадьба. Юбилей. Три сестры». Пьесы. СПб., 1902; изд. 2-е – СПб., 1902; «Три сестры». Драма в 4-х действиях. СПб., 1901; изд. 2-е – СПб., б. г.; «Дядя Ваня». Сцены из деревенской жизни в 4-х действиях. СПб., 1902; «Вишневый сад». Комедия в 4-х действиях. Изд. 2-е. СПб., 1904.

У А. С. Суворина переиздавались произведения: «Дуэль». Повесть. Изд. 7–9. СПб., 1898–1899; «Каштанка». Рассказ с рисунками в тексте. Изд. 6–7. 1898–1899.

В том же издательстве продолжали выходить сборники: «Пестрые рассказы». Изд. 10–14. СПб., 1898–1899; «В сумерках». Изд. 11–13. СПб., 1898–1899; «Рассказы». Изд. 12–13. СПб., 1898–1899; «Хмурые люди». Изд. 8–10. СПб., 1898–1899; «Палата № 6» <и др. рассказы>. Изд. 6–7. 1898–1899; «Мужики». «Моя жизнь». Изд. 3–7. 1898–1899 (в изд. 3-м заглавие: Рассказы: 1. «Мужики». 2. «Моя жизнь»). В «Посреднике», в серии «Для интеллигентных читателей», вышли: «Жена». Изд. 3-е. М., 1899; «Именины». Изд. 3-е. М., 1899; «Палата № 6». Изд. 3-е. М., 1899.

В других издательствах выходили рассказы и повести прежних лет: «Повести и рассказы». М., Изд-во И. Сытина, 1898; «Мечты». Рассказ. М., 1898; «Святою ночью». М., 1898 и др.

Рассказ «На подводе» был включен в сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». Изд. 2-е, дополн. М., 1898; рассказ «Белолобый» – в книгу «Сказки жизни и природы русских писателей». М., 1899, и др.

В 1898 г. Чехов задумал издать собрание своих сочинений. Он понимал, что после резкого обострения легочной болезни в марте 1897 г. с этим нужно торопиться. В письме от 24 августа 1898 г. он обратился к А. С. Суворину с предложением: «Если Вы ничего не имеете против этого, то глубокой осенью и зимой, когда мне нечего будет делать, я занялся бы редакцией своих будущих томов. В пользу моего намерения говорит и то соображение, что пусть лучше проредактирую и издам я сам, а не мои наследники». Письма Суворина не сохранились, но можно предположить, что он ответил согласием: в письмах к нему от 27 октября и 16 ноября 1898 г. Чехов говорил о том же.

Первый том был набран, в январе Чехов читал его корректуру (в письме к М. П. Чеховой от 9 января 1899 г.: «...читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствую, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года»).

Во время печатания первого тома суворинского издания, в декабре 1898 г., Чехов узнает о возможности издания сочинений у А. Ф. Маркса, стоявшего во главе крупнейшей издательской фирмы и массового – по тем временам – литературного журнала «Нива». Как только вопрос о собрании сочинений Чехова стал на практическую почву, обнаружилось нежелание Суворина за него браться (см. письмо Чехова к брату Михаилу Павловичу от 29 января 1900 г.). Об отношении Суворина к заключению договора с Марксом говорится в письме Михаила Павловича к Чехову от 22 января 1900 г. (С. М. Чехов. О семье Чеховых. М. П. Чехов в Ярославле. Ярославль, 1970, стр. 178–183). См. также телеграмму Суворина к Чехову от 18 января 1899 г. с советом воздержаться от подписания договора с Марксом – «Красный архив», 1929, № 6, стр. 199–200. О беседе с Чеховым относительно Суворина («Суворину некогда заниматься своим книжным магазином...») см. в воспоминаниях А. С. Яковлева. – ЛН, т. 68, стр. 601.

25 декабря 1898 г. П. А. Сергеенко сообщал Чехову: «Кстати о Марксе. Беседуя с его управляющим Грюнбергом, я имел полное основание заключить, что Маркс приобрел бы право на изд[ание] твоих произведений» (ГБЛ). После положительного ответа Чехова 1 января 1899 г. начинаются переговоры с Марксом (их вел Сергеенко). Они завершаются 26 января 1899 г. заклю-

чением договора: сочинения Чехова – кроме пьес – переходят в «полную литературную собственность» Маркса, как уже опубликованные, так и те, которые будут обнародованы в течение первых двадцати лет после подписания договора. Маркс обязался уплатить в несколько сроков за произведения, напечатанные до подписания договора, 75 000 рублей (ГБЛ, ф. 360, к. 1, ед. хр. 90; «Красный архив», 1929, № 6, стр. 208–210. Об условиях договора см. в письме Чехова к сестре от 20 января 1899 г.).

Спустя несколько дней после подписания договора Чехов писал Сергеенко: «В этой продаже не столь важны для меня 75 тыс., как то, что мои произведения будут издаваться порядочно» (1 февраля 1899).

По 7-му пункту договора Чехов обязался не более чем в шестимесячный срок «собрать все без исключения произведения свои, напечатанные в разных изданиях», и, кроме того, проредактировать все свои сочинения, составив из них «Полное собрание» не позднее 26 июля 1899 г.

Он принялся за розыски своих произведений, затерявшихся в различных журналах и газетах. В этих разысканиях ему помогали брат Александр Павлович, А. С. Лазарев (Грузинский), Н. М. Ежов, Л. А. Авилова и сам Маркс (см. письма к ним Чехова с начала 1899 г.). «Всё, что составляло до сих пор содержимое сборников, Вам известных, утонет совершенно в массе материала, неведомого миру. Когда я собрал всю эту массу, то только руками развел от изумления», – писал Чехов М. О. Меншикову 4 июня 1899 г.

В соответствии с соглашением он представил издателю тексты не только включенных в собрание произведений, но и отвергнутых – в вопросе отбора голос автора был решающим.

В десять томов нового издания вошла примерно треть изданного при жизни Чехова. Подробнее см.: И. П. Видуэцкая. А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс. М., «Наука», 1977.

Он включил в собрание лишь одно произведение первых лет своей литературной работы («Кривое зеркало», 1882). Из 103 произведений 1883 г. отобрал для издания только 20, из 77 1884 г. – 27, из 116 1885 г. – 35, из 107 1886 г. – 56, из 64 1887 г. – 49 (подробнее об этом см. в статье Е. Н. Коншиной «Чехов-редактор. Работа Чехова над составлением сборников и собраний своих произведений». – Сб. «Книга. Исследования и материалы». Вып. 10. М., 1965, стр. 94).

Чеховские письма 1899–1901 гг. пестрят горестно-шутливыми жалобами на каторжный труд саморедактирования: «Корректур для Маркса – это каторга <... > если бы знал раньше, что это так нелегко, то взял бы с Маркса не 75, а 175 тысяч» (Вл. И. Немировичу-Данченко 24 ноября 1899 г. и др.).

Десятитомное собрание сочинений Чехова, изданное Марксом (1899–1902), а также повторявшее его издание с другим распределением по томам – приложение к журналу «Нива» за 1903 год (в шестнадцати томах) – строились по хронологическому принципу. «Свои произведения, – сообщал автор 25 февраля 1899 г. издателю, – я буду располагать в хронологическом порядке, но держаться строго этого порядка невозможно, я буду только стараться, чтобы новые произведения не смешивались со старыми». Пьесы и «Остров Сахалин» были введены Чеховым в самостоятельные тома.

27 июня 1901 г. Горький обратился к Чехову с предложением расторгнуть договор с Марксом и издать собрание сочинений в товариществе «Знание» (Горький, т. 28, стр. 166). См. об этом в воспоминаниях Н. Д. Телешова (Чехов в воспоминаниях, стр. 482–486). Там же приводится текст неотправленного коллективного письма Марксу (оно было составлено Горьким и Л. Н. Андреевым) с требованием исправить «несправедливость, до сих пор тяготеющую над А. П. Чеховым» (см. также Горький и Чехов, стр. 153–156 и 249).

За год до смерти Чехов согласился вступить в переговоры с Марксом об изменении или расторжении договора (см. его письма к М. П. Чеховой от 16 мая и 7 июня 1903 г. и А. С. Суворину от 17 июня 1903 г.). 23 января 1903 г. Книппер сообщала Чехову: «С Пятницким говорила о Марксе <... >. Он настаивает, что это грабеж» (О. Л. Книппер-Чехова. Ч. I. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902–1904). М., «Искусство», 1972, стр. 192).

«Он готов был начать процесс с Марксом», – писал Горький Е. П. Пешковой 6 июля 1904 г., спустя несколько дней после смерти Чехова (АГ, цит. по кн.: Горький и Чехов, стр. 156).

Работа над подготовкой собрания сочинений – важная веха творческой биографии Чехова. В

сознании художника проходило своеобразное воссоединение разных периодов и моментов пройденного писательского пути. Издание сыграло роль в углублении творческого самосознания Чехова. Он говорил незадолго до смерти: «Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем... А я написал несколько томов веселых рассказов...» (Евт. П. Карпов. Две последние встречи с А. П. Чеховым. – «Ежегодник императорских театров». Вып. 5, 1909, стр. 7; «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 491).⁷

В работе Чехова над собранием сочинений проявилась характерная черта его творческого облика: он снова и снова возвращался к ранее написанному, развитие писателя шло как бы «вместе» со всем его творчеством, достигая новой, все более высокой зрелости и мастерства.

Благодаря этому изданию читающая Россия получила возможность познакомиться с основным фондом сочинений Чехова еще при его жизни и составить о нем разностороннее и целостное представление.

Ионыч

Впервые – «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1898, № 9, сентябрь (ценз. разр. 31 августа), стлб. 1–24. Подзаголовок: Рассказ Антона Чехова.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 323–344.

Сохранился беловой автограф (ЦГАЛИ), который служил оригиналом для набора при первой публикации. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов. На первой странице автографа – пометы, сделанные в редакции «Ежемесячных литературных приложений к „Ниве“» при отправке в типографию: «Корпус обыкнов~~енный~~»; «Лит~~ературные~~ При~~ложения~~ № 9»: «Набрать тотчас же и прислать мне корректуру».

История создания рассказа прослеживается по записным книжкам Чехова и его переписке. Записи к рассказу появляются с августа 1897 г. До этого можно отметить только одну запись сюжета, которая, возможно, имела какое-то отношение не к рассказу, а к оформлению его замысла, но впоследствии осталась в стороне и была перенесена в Четвертую записную книжку как нереализованная. Это запись: «Серьезный мешковатый доктор влюбился в девушку, которая очень хорошо танцует, и, чтобы понравиться ей, стал учиться мазурке» (Зап. кн. I, стр. 72). Эта запись не ставилась ранее в связь с «Ионычем», да прямой связи с текстом рассказа, как он сложился окончательно, и нет. Однако можно отметить определенную близость мотивов – см. в «Ионыче»: «И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку...» (стр. 30, строки 31–33).

Первая запись, бесспорно относящаяся к «Ионычу»: «От кредитных бумажек пахло ворванью» (Зап. кн. I, стр. 76); она близка к окончательному тексту рассказа (стр. 36, строки 15–18). Датируется августом 1897 г.

Вслед за тем наступил большой перерыв в записях к «Ионычу» – до марта 1898 г. В осенние месяцы 1897 г., за границей, Чехов написал рассказы «Печенег», «В родном углу», «На подводе». Остальные же замыслы ждали своей очереди. 14 декабря 1897 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Накопилось много работы, сюжеты перепутались в мозгу, но работать в хорошую погоду, за чужим столом, с полным желудком – это не работа, а каторжная работа, и я всячески уклоняюсь от нее». Затем он начал писать рассказ «У знакомых».

К началу марта относится запись отдельной детали: «Мальчик лакей: умри, несчастная!» (Зап. кн. I, стр. 83). Следующая запись также характеризует дом Туркиных и юмор его хозяина – «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право» (Зап. кн. I, стр. 84); датируется мартом или первой половиной апреля 1898 г.

Таким образом, с августа 1897 г. до апреля 1898 г. в Первой записной книжке появились три детали к будущему рассказу. Однако за ними для Чехова уже стояли, очевидно, быт героя и атмо-

⁷ О том, как Чехов правил, читал или слушал свои старые рассказы, см.: И. А. Бунин. Собр. соч. Т. 9, стр. 195; Из далекого прошлого, стр. 234; К. С. Станиславский. – Л. А. Сулержицкий. Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. – Альманах «Шиповник», кн. 23. СПб., 1914, стр. 157.

сфера, окружающая его. Первая развернутая запись сюжета рассказа «Ионыч» может быть отнесена ко второй половине апреля 1898 г.: «Филимоновы талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит („здравствуйте, пожалуйста“), она пишет либеральные повести, имитирует – „Я в вас влюблена... ах, увидит муж!“ – это говорит она всем, при муже. Мальчик в передней: „умри, несчастная!“ В первый раз, в самом деле, всё это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз – тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять „Я в вас влюблена... ах, увидит муж!“, опять та же имитация: „умри, несчастная“, и когда я уходил от Ф<илимоновы>х, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей» (*Зап. кн. I*, стр. 85). Здесь обращает на себя внимание форма повествования от первого лица.

Последняя запись – конспект пятой главы «Ионыча» – была внесена в записную книжку, по-видимому, в самых последних числах мая или первых числах июня 1898 г.: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом, и когда заходит речь о Туркиных, спр<ашивает>: – Это вы про каких Турк<иных>? Про тех, у которых дочь играет на фортепьянах. – Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность» (*Зап. кн. III*, стр. 31).

Материалы переписки Чехова также говорят о том, что работа над «Ионычем» была закончена в первой половине июня 1898 г. и 15 или 16 июня белой автограф рассказа был отослан в редакцию приложений к «Ниве» (см. ниже письмо Ю. О. Грюнберга к Чехову от 18 июня 1898 г.).

Записи к «Ионычу», в их соотношении с окончательным текстом рассказа, проанализированы в книге: З. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, гл. 4 – «Зерно и растение».

До сих пор читалось, что рассказ «Ионыч» был предназначен Чеховым для «Русской мысли», а затем взят им обратно как не подходящий для журнала. В *ПССП*, т. IX (стр. 589, 600), эта мысль была высказана как предположение и затем, уже в категорической форме, повторена в т. XVII (стр. 449). Однако сопоставление писем Чехова и его корреспондентов убеждает в несостоятельности этого утверждения.

Действительно, в редакции «Русской мысли» ожидали от Чехова рассказа с осени 1897 г., так как 18 октября он обещал В. А. Гольцеву: «Рассказ пришлю в декабре», а 2 ноября подтвердил: «Рассказ пришлю непременно». 15 декабря 1897 г., в письме к нему же, Чехов отложил исполнение обещания на февраль 1898 г., объяснив это неудобствами писания в непривычной обстановке и трудностями избранного сюжета: «Рассказ я пришлю, но едва ли успею сделать это раньше февраля. Во-первых, сюжет такой, что не легко пишется, а во-вторых, мне лень и лень». Эти строки обычно относили к «Ионычу», однако речь здесь идет о другом произведении.

Не получив от Чехова нового рассказа и в феврале, Гольцев обратился к нему 20 марта 1898 г. с иной просьбой – дать что-нибудь из прежнего для сборника в пользу голодающих. Речь шла о «Неосторожности» (см. т. VI Сочинений, стр. 635). Сборник не состоялся, и 4 июня Гольцев попросил: «Не отдашь ли рассказ в „Русскую мысль“?» (*ГБЛ*).

Идея Гольцева напечатать «Неосторожность» в «Русской мысли» вызвала возражение Чехова (письмо от 6 июня 1898 г.). Просьба вернуть рассказ в литературе о Чехове была ошибочно отнесена к «Ионычу». «Рассказ возврати мне, для „Русской мысли“ он не годится. Если он был набран, то пришли в набранном виде – очень обяжешь. Для Русской же мысли у меня готовится другой рассказ, побольше», – эти последние слова, так же как и упоминания в письме от 15 декабря 1897 г. о трудно пишущемся рассказе, следует отнести к рассказу «Человек в футляре».

«Ионыч» был обещан «Ниве» еще до переписки Чехова с Гольцевым по поводу рассказа «Неосторожность». 13 марта 1898 г. Чехов писал Ю. О. Грюнбергу: «Рассказ я пришлю непременно, но не раньше того, как вернусь домой; здесь писать я не могу, обленился. Около 5–10 апреля (ст. ст.) я поеду в Париж, оттуда домой, и в мае или в июне, вероятно, уже буду писать для „Нивы“». Дальнейшая история писания и публикации «Ионыча» прослеживается по переписке Чехова с редакцией «Нивы».

4 апреля 1898 г. Грюнберг писал Чехову: «И. Н. Потапенко передал мне о Вашем желании получить аванс в счет гонорара за вещь, которую Вы пишете для „Нивы“. К сожалению, Адольф Федорович <Маркс> теперь за границей, но, зная Вашу аккуратность, я решаюсь исполнить Ваше желание, не испросив предварительно его согласия, и посылаю Вам при сем переводом две тысячи

франков, что составляет 751 рубль. – Буду очень рад, если Вы найдете возможным прислать нам рукопись в скором времени» (ГБЛ). 11 апреля Чехов ответил Грюнбергу: «Рассказ, как я уже писал Вам недели две назад, я пришлю по возвращении домой».

Чехов вернулся в Мелихово 5 мая 1898 г. и вскоре, очевидно, приступил к писанию. 12 июня он сообщил А. С. Суворину: «Написал уже повесть и рассказ». В переписке с Гольцевым Чехов часто называл вещь, предназначенную для «Русской мысли», повестью, а «Ионыч» обычно именовался рассказом; впрочем, в письме к Н. А. Лейкину от 2 июля 1898 г. обе вещи названы повестями.

Таким образом, «Ионыч» был написан в Мелихове в мае (после 5-го) и в июне (до 12-го) 1898 г., т. е. приблизительно в течение месяца.

Рассказ был отправлен в «Ниву», очевидно, 15 или 16 июня. 18 июня 1898 г. Грюнберг писал Чехову: «Рассказ Ваш „Ионыч“ я получил и передал Ростиславу Ивановичу Сементковскому <... > Желание Ваше, чтобы рассказ был напечатан в *одной* книжке, будет исполнено, равно как Ваша просьба о присылке корректуры» (ГБЛ). В тот же день Чехову писал и Сементковский: «С истинным удовольствием прочел я Ваш рассказ, и само собою разумеется, что все Ваши желания будут в точности исполнены <... > пользуюсь этим случаем, чтобы лично Вам подтвердить, что очень дорожу Вашим сотрудничеством» (ГБЛ).

16 июля корректура была послана. Сементковский напомнил о ней Чехову 28 июля: «... я предназначаю „Ионыча“ для сентябрьской книжки наших „Приложений“, которая у нас уже в работе. Не смею Вас торопить, если Вы корректуру получили; но если Вы ее не получили, будьте любезны меня об этом уведомить, и я немедленно вышлю Вам другой оттиск» (ГБЛ). Чехов отослал корректуру 29 июля, еще не получив этого напоминания, – см. его письмо к Сементковскому от 10 августа 1898 г.

Беловой автограф рассказа достаточно близок к тексту первой публикации (см. варианты).

Правка в корректуре выразилась в сокращениях по всему тексту, особенно в главе I, где были устранены некоторые детали: например, о Старцеве перед его первым визитом к Туркиным – «выпил бутылку пива», в описании игры Екатерины Ивановны – «и казалось, что он уже целый год слышит эту музыку». В корректуре был вычеркнут эпизод в сцене всеобщего восхищения игрой Екатерины Ивановны (см. вариант к стр. 27, строка 43); «зависть и ревность к чужим успехам» у Веры Иосифовны нарушала идиллические тона, в которых дана атмосфера семьи Туркиных при первом визите Старцева.

При подготовке собрания сочинений оригиналом для набора «Ионыча» послужил текст «Нивы». 12 мая 1899 г. Чехов писал А. Ф. Марксу: «Рассказ мой „Ионыч“, напечатанный в прошлом году в „Ниве“, благоволийте также послать в типографию». Корректуру IX-го тома Чехов читал в октябре 1901 г., в Москве – см. в письме к Л. Е. Розинеру от 8 октября 1901 г.: «Корректуру IX тома вышлю на этих днях». В текст первой публикации он внес при этом десяток поправок: в одном случае переменял слово, в другом – глагольную форму, остальные изменения коснулись предлогов, окончаний и пунктуации.

Специальный вопрос составляет так называемый «таганрогский колорит» в «Ионыче». Какие-то детали в рассказе действительно, должно быть, восходят к картинам Таганрога. Так, М. П. Чехов утверждает, что «описанное в „Ионыче“ кладбище – это таганрогское кладбище» (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 17; см. об этом также в статье П. Сурожского «Местный колорит в произведениях А. П. Чехова». – «Приазовский край», 1914, № 172, 3 июля). Некоторые исследователи находят в «Ионыче» черты, которые сам Чехов отмечал в быте таганрогских врачей: в письме к М. Е. Чехову от 3 января 1885 г. – «Как врач я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку, в Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты»; в воспоминаниях В. Ленского (В. Я. Абрамовича), относящихся к приезду Чехова в Таганрог в июле 1899 г.: «На вокзале А. П. был очень бодр, оживлен, много говорил, смеялся. Кому-то из врачей шутя сказал: – Литература – невыгодное занятие. Вон у всех таганрогских врачей есть свои дома, лошади, коляски, а у меня ничего нет. Брошу-ка я литературу, займусь медициной...» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 349). Действительно, здесь отмечены некоторые «обязательные» черты преуспевающего врача, нашедшие место в «Ионыче», но вряд ли можно подобные детали возво-

доть исключительно к таганрогским впечатлениям. Обстановка в «Ионыче» – русская провинция, но в среде московских врачей Чехов также мог черпать материал для будущего рассказа – см., например, в «Осколках московской жизни» саркастическую характеристику «ученого миллионера» Г. А. Захарьина с его «классическими сторублевками» («Осколки», 1883, № 37, 10 сентября).

Читатели «Ионыча», самые разные, в письмах делились с Чеховым своими впечатлениями от нового рассказа. Г. М. Чехов писал 28 сентября 1898 г.: «Какой хороший рассказ „Ионыч“, очень живой!» (ГБЛ). Остро эмоционально восприняла рассказ читательница Н. Душина из г. Кологрива Костромской губернии: «А „Ионыч“? Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волей людей губит пошлость, как она сильно затягивает и потом уж не вырвешься. Горько мне думать, что Вы, может быть, сами перестрадали от пошлости и черствости людской» (письмо от марта 1899 г. – ГБЛ).

Критика отвесила рассказ «Ионыч» к тем произведениям, в основе которых лежат «глубокие драматические сюжеты в обыденной жизни» (И. И. П-ский. Трагедия чувства. Критический этюд (по поводу последних произведений Чехова). СПб., 1900, стр. 21) и «широко разворачивается картина обыденной жизни с ее торжеством пошлости, мелочности, жестокой бессмыслицы, тупой скуки и безнадежной тоски» (Волжский <А. С. Глинка>. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 61).

А. Л. Волынский (Флексер) особо отметил в «Ионыче», что «фон и действующие на этом фоне лица – настоящая русская действительность», а «медленный, вялый темп их жизни тоже характерен для России» (А. Л. Волынский. А. П. Чехов. – В кн.: Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб., 1900, стр. 341).

Р. И. Сементковский поставил рассказ «Ионыч» в один ряд с другими произведениями Чехова 1898 г., где, по его мнению, решается вопрос об отношении идеалов к современной жизни: «Прочтите последние произведения г. Чехова, и вы ужаснетесь той картине современного поколения, которую он нарисовал с свойственным ему мастерством. Возьмете ли вы Ионыча, героя рассказа, помещенного в „Литературных приложениях“ „Нивы“ за сентябрь, или ряд личностей, выведенных в других рассказах талантливого беллетриста, – вы одинаково вынесете какое-то щемящее впечатление бессилия найти в жизни идеальное содержание» («Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1898, № 10, стлб. 391).

«Ионыч» был воспринят в одном ряду с рассказом «Человек в футляре», и даже фразеология критических отзывов об «Ионыче» говорит о том, что в этом рассказе критики увидели прежде всего изображение «холодного формализма», «мертвой обстановки, в которой приходится жить современному человеку»; «Люди как бы забываются в кругу формально усвоенных ими понятий <... > Жизнь по шаблонам парализует ум, чувство и волю...» (Мих. Столяров. Новейшие русские новеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький. Киев – Петербург – Харьков, 1901, стр. 46 и 58).

«Власть жизненного футляра очерчена здесь художником сильно, сжато и красиво...», – писал об «Ионыче» Волжский («Очерки о Чехове», стр. 88). «Типичность чеховской картины невольно наводит читателя на размышление, сколько еще таких Ионычей выбрасывает лаборатория провинциальной российской обывательщины. „Беликова похоронили, а сколько таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!“ – говорит в конце своего рассказа о человеке в футляре Буркин; подобное же заключение напрашивается по прочтении „Ионыча“. Здесь Чехов дал широчайшее обобщение российской обывательской жизни» (там же). Волжский, правда, отмечал, что «главный интерес рассказа» заключается в «психологическом процессе формирования молодого, здорового, неглупого врача Старцева в безличного обывателя» (стр. 87), но самый этот процесс автор, в сущности, обошел вниманием.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский подверг углубленному рассмотрению процесс «постепенного очерствения души молодого врача» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Наши писатели. (Литературно-критические очерки и характеристики). I. А. П. Чехов. – «Журнал для всех», 1899, №№ 2–3). «Ионыч» – отнюдь не рассказ «на старую, избитую тему о том, как „среда заедает свежего человека“» (№ 3, стлб. 259). Благодаря природному уму Старцев понимает заурядность и пошлость окружающей обстановки и обывателей города, но он и сам не выключен из «рутины, которая ему так ненавистна в других» (№ 3, стлб. 266).

Основой пессимизма Чехова, по мнению Овсяннико-Куликовского, служит «унылое и безот-

радное чувство, вызываемое в художнике созерцанием всего, что есть в натуре человеческой заурядного, пошлого, рутинного» (№ 3, стлб. 263). Этот пессимизм исходит отнюдь не из отрицания возможностей совершенствования отдельного человека и общества в целом, напротив, он основан «на глубокой вере в возможность безграничного прогресса человечества», но «главным препятствием, задерживающим наступление лучшего будущего, является *нормальный* человек, который не хорош и не дурен, не добр и не зол, не умен и не глуп, не вырождается и не совершенствуется, не опускается ниже нормы, но и не способен хоть чуточку подняться выше ее» (№ 3, стлб. 264).

«Ионыч» послужил Овсяннико-Куликовскому примером для демонстрации того свойства, которое исследователь обозначил как «односторонность», в отличие от «разносторонности» таких художников, как Шекспир, Пушкин, Тургенев. Чехов, по его мнению, производит «художественный опыт», эксперимент: «он выделяет из хаоса явлений, представляемых действительностью, известный элемент и следит за его выражением, его развитием в разных натурах»; внимание Чехова направлено к изучению «явлений, в действительности затененных или уравновешенных многими другими» (№ 2, стлб. 136–137) – иначе было бы трудно отделить их от потока ежедневной жизни.

Овсяннико-Куликовский обратил внимание на характерное, по его мнению, качество чеховской поэтики – особую обнаженность приемов творчества: «Чехов не боится рисковать <... > Смелость в употреблении опасных художественных приемов, давно уже скомпрометированных и опошленных, и вместе с тем необыкновенное умение их *обезвреживать* и пользоваться ими для достижения художественных целей – вот что ярко отличает манеру Чехова и заставляет нас удивляться оригинальности и силе его дарования» (№ 3, стлб. 261).

Первый из этих приемов состоит в том, что, «хотя провинциальная жизнь и не изображена в рассказе, ее присутствие там явственно чувствуется читателем», благодаря тому что показана семья Туркиных, аттестованная как самая талантливая в городе. Другой прием, примененный «для того, чтобы *осветить* жизнь города и умственный уровень его обывателей, не рисуя их <... > состоит в том, что автор просто указывает нам, как стал относиться к местному обществу доктор Старцев, после того, как он уже прожил в городе несколько лет <... > В результате у нас складывается весьма невыгодное для местного, так называемого „интеллигентного“ общества представление о нем <... > На этом нашем представлении, которое нам *подсказано*, можно даже сказать – *навязано* автором, и основано *освещение* внутренней жизни общества города С., сделанное так, что самый-то освещаемый предмет за этим освещением и не виден» (№ 3, стлб. 262). Указана, таким образом, одна из существенных черт чеховской поэтики – средство косвенной оценки изображаемого явления. В статье рассмотрена также композиция рассказа «Ионыч», его «прозрачное» построение; истолкована сцена на кладбище и выяснена ее функция в развитии сюжета рассказа – «эти поэтические строки имеют огромное художественное значение в целом, образуя в нем как бы поворотный пункт» (№ 3, стлб. 270).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий и сербскохорватский языки.